

# «Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ТЕБЕ ТАК МНОГО...»

В. И. КАЧАЛОВ: ВСТРЕЧИ С ПОЭТОМ

До ранней весны 1925 года я никогда не встречался с Есениным, не видал его лица. Не видал даже его портретов. Почему-то представлялся он мне рослым, широкоплечим, широконосом, скуластым, басистым. И слышал о нем, об его личности очень немного, почти не имел общих знакомых. Но стихи его любил давно. Сразу полюбил, как только наткнулся на них, кажется, в 1917 г. в каком-то журнале.

«Приведем к вам сегодня Есенина», — объявили мне как-то Пильняк и Ключарев. Это было, по-моему, в марте 1925 г. «Он давно знает вас по театру и хочет познакомиться». Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидел Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывая голову из подмышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом Старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу больше с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться!» — бормотал Есенин с детски-лукавой улыбкой.

Меня поразила его молодость. Когда он молча и, мне показалось, застенчиво подал мне руку, он показался мне почти мальчиком, ну, юношей лет 20. Когда он заговорил, сразу показался старше, в звуке голоса послышалась неожиданная мужественность. Как будто усталость появилась в глазах; на какие-то секунды большая серьезность, даже некоторая мучительность застыли в глазах. Глаза и рот сразу заволновали меня своей огромной выразительностью. Вот он о чем-то заспорил и внимательно, напряженно слушает оппонента: брови только слегка сдвинулись, не мрачно, не скорбно, а только упрямо и очень серьезно...

А вот он встряхнул шапкой белых волос, мотнул головой — особенно, по-своему, но в то же время и очень по-мужички заулыбался — широкой, сочной, озаряющей улыбкой, и глаза засветились — «синими брызгами», действительно стали синие.

Сидели долго. О чем-то спорили, галдели, шумели. Есенин пил немного, меньше других, совсем не был пьян, но и не скукал, по-видимому, был весь тут, с нами, о чем-то спорил, на что-то жаловался. Вспоминал о первых своих шагах поэта, знакомстве с Блоком. Рассказывал и вспоминал о Тегеране. Тут же прочел «Шаганэ». Замечательно читал он стихи. И в этот первый вечер нашего знакомства и потом, каждый раз, когда я слышал его чтение, я всегда испытывал радость. У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. И всегда — сколько я его ни слышал — всегда становилось прекрасным лицо, сразу, как только, откашлявшись, он приступал к первому стихотворению. Прекрасное лицо: спокойное (без гримас, без напряжения, без аффектации актеров, без мертвой монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все чувства...

Джиму уже хотелось спать, он громко и нервно зевал, но, очевидно, из любопытства присутствовал, и когда Есенин читал стихи, Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу — «Ах ты черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу».

Компания разошлась. Я сидел и разбирался в своих впечатлениях. Все в нем, Есенине, ярко и сбивчиво — неожиданно контрастно. Тут же на глазах твоих он меняет лики, но ни на секунду не становится безличным. Белоголовый юноша, тонкий, стройный, изящно, ладно скроен и как будто не крепко шит, с васильковыми глазами, не страшными, не мистическими, не нестеровскими, а такими живыми, такими просто синими, как у тысячи рязанских новобранцев на призыве, — рязанских, и московских, и тульских — что-то очень широко-русское. Парижский костюм, чистый, мягкий воротничок, сверху на шею накинуто еще шелковое сиреневое кашне, как будто забыл или не захотел снять в передней. Напудрен. Даже

слишком — на бровях и ресницах слой пудры. Мотнул головой, здороваясь, взметнулись светло-желтые кудри рязанского парня, и дешевыми духами парикмахерского вежества повеяло от них. Рука хорошая, крепкая, широкая, красная, не выхоленная, мужицкая. Голос с приятной сипотой, как будто не от болезни, не от алкоголя, а скорее от темных сырых ночей, от солсы, от костров в ночном. Заговорил этим сиплым баском — сразу растаяла, распылилась, как пудра на лице, испарилась, как парикмахерский вежества, вся «европейская культура», и уже не лезут в глаза ни костюм, ни кашне на шее, ни галстук парижский. Откашлявшись, начал читать:

Не жалею, не зову, не плачу.  
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

И кончил тихо, почти шепотом, почти молитвенно:

Будь же ты во век благословенно,  
Что пришло процветать и умереть.

Прихожу как-то домой — вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то — Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли.

В июне того же года наш театр приехал на гастроли в Баку. Нас пугали этим городом, бакинским пылью, бакинскими горячими ветрами, нефтяным духом, зно-

ем и пр. И не хотелось туда ехать из чудесного Тифлиса. Но вот сижу в Баку на вышке ресторана «Новой Европы». Хорошо. Пыль как пыль, ветер как ветер, морз как море, запах соли доносится на шестой, седьмой этаж. Приходит молодая, милостивая, смуглая девушка и спрашивает: «Вы Качалов?» — Качалов, отвечаю. — «Один приехали?» — Нет, с театром — «А больше никого не привезли?» — Недоумеваю: — Жена, говорю, со мной, товарищи. — «А Джима нет с вами?» — почти вскрикнула — Нет, говорю, Джим в Москве остался. — «А-яй, как будет убит Есенин, он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: «Вы знаете, что это за собака! Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу и буду здоров, буду с ним купаться в море». Девушка отошла от меня огорченная: «Ну, что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не расчитывал на Джима».

Как выяснилось потом, это была та самая Шаганэ, персиянка.

Играем в Баку спектакль. Есенин уже не в больнице, уже на свободе. И весь город — сплошная легенда об Есенине. Ему здесь «все позволено». Ему все прощают. Вся редакция «Бакинского рабочего», Чагин, Яковлев, типографские рабочие, милиция — все охраняют его.

Кончаю спектакль «Царя Федора». Театральный сторож подает записку, лицо сердитое. В записке ничего разоблачить нельзя. Безнадежные каракули. Подпись «Есенин». Где же, спрашиваю, тот, кто написал записку? Сторож отвечает мрачно: «На улице, за дверью. Рукается. Меня называет «сукин сын». Я его не пускаю. Он так всех вас будет называть». Я поспешил на улицу, как был, в

царском облачении Федора, даже в мономасковой шапке. Есенин сидит на камне, у двери, в темной рубашке кавказского покрой, кепка надвинута на глаза. Глаза воспаленные, красные. Вздыхает. Страшно обижен на сторожа. Я их с трудом примирял и привел Есенина за кулисы, в нашу уборную. Познакомил со Станиславским. У Есенина в руке несколько великолепных чайных роз. Пальцы расправлены. Он высасывает кровь, улыбается: «Это я вам срызал, об шипы накололся, пожалуйста», — поднес нам каждому по два цветка. Следом за ним, сопя и отдуваясь, влез в уборную босой мальчик, но в шапочке, совсем крошечный, на вид лет восьми, с громадной корзиной какого-то провианта, нужного Есенину, как потом оказалось, для путешествия в Персию. В эту ночь под утро он с компанией должен был улететь в Тегеран. Я ушел на сцену кончать последний акт «Царя Федора». Возвращаюсь в уборную — сидят трое. Станиславский, сощурив глаза, с любопытством рассматривает и внимательно слушает. Есенин уже без всякого звука хриплым шепотом читает стихи:

...Я хочу при последней минуте  
Попросить тех, кто будет со мной,  
Чтоб за все, за грехи мои тяжкие,  
За неверие в благодать  
Положили меня в русской рубашке  
Под иголами умирать.

А в уголке на корзине сидит мальчик и тоже внимательно слушает...

Мелькают — вспоминаются еще встречи. Короткие, и немного их было, того же года в Москве, в середине лета. Он уже «слетал» в Тегеран и вернулся в Москву. Женится. Зовет меня на мальчишник. Совсем здоровый, мне показалось, ясный, трезвый. Осенью в Пильняка сидим. Спорим, и очень убедительно, с Пастернаком о том, как писать стихи так, чтобы себя не обижать, себя не терять и в то же время быть понятым.

А вот и конец декабря в Москве. Есенин в Ленинграде. Сидим в «Кружке». Часа в два ночи, вдруг, почему-то, обращаюсь к Мариенкофу: «Расскажи, что и как Сергей». — «Хорошо, молодцом, поправился, сейчас уехал в Ленинград, хочет там жить и работать, полон всяких планов, решений, надежд. Был у него неделю назад, навещал его в санатории, просил тебе кланяться. И Джиму — обязательно». — Ну, говорю, выпьем за его здоровье. Чокнулись. — Пьем, говорю, за Есенина. Все подняли стаканы. Нас было за столом человек десять. Это было в 2 — 2½ часа ночи с 27 на 28 декабря. Не знаю, да, кажется, это и не установлено, жил ли, дышал ли еще наш Сергей в ту минуту, когда мы пили за его здоровье.

— Кланяется тебе Есенин, — сказал я Джиму под утро, гуляя с ним по двору. — Даже повторил: — Слышишь, ты, обалдуй, чувствуешь — кланяется тебе Есенин. Но у Джима в зубах было что-то, чем он был весело поглощен — кость или льдина — и он даже не покосился в мою сторону.

И не почувствовал, по-видимому, Джим пришествия той самой «гости», что всех безмолвней и грустней, которую так упорно и мучительно ждал Есенин. «Она придет, — писал он, — даю тебе поруку».

И без меня, в ее уставясь взгляд,  
Ты за меня лизни ей нежно руку —  
За все, в чем был и не был виноват.

Рисунок заслуженного  
художника РСФСР  
Александра Коренцова.



## МЕЧТА

В темной роще на зеленых елях  
Золотятся листья вялых ив.  
Выхожу я на высокий берег,  
Где покойно плещется залив.  
Две луны, рога свои качая,  
Замутили желтым дымом зыбь.  
Гладь озер с травой не различая,  
Тихо плещет на болоте выпь.  
В этом голосе обкошенного луга  
Слышу я знакомый сердцу зов.  
Ты зовешь меня, моя подруга,  
Погрустить у сонных берегов.  
Много лет я не был здесь и много  
Встреч веселых видел и разлук,  
Но всегда хранил в себе я строго  
Нежный стиб твоих туманных рук.

Тихий отрок, чувствующий кротко,  
Голубей целующий в уста, —  
Тонкий стан с медлительной походкой

Я любил в тебе, моя мечта.  
Я бродил по городам и селам,  
Я искал тебя, где ты живешь,  
И со смехом, резвым и веселым,  
Часто ты меня манила в рожь.  
За оградой монастырской кроюсь,  
Я вошел однажды в белый храм:  
Синею водою солнце моюсь,  
Свой орарь мне кинуло к ногам.  
Я стоял, как иннок, в блеске алом,  
Вдруг сдвинула горло тишина...  
Ты вошла под черным покрывалом  
И, поникнув, стала у окна.

С паперти под колокол гудящий  
Ты сходила в благовоны свеч.  
И не мог я, ласково дрожащий,  
Не коснуться рук твоих и плеч.  
Я хотел сказать тебе так много,  
Что томило душу с ранних пор,  
Но дымилась тихая дорога  
В незакатном полуме озер.  
Ты взглянула тихо на долины,  
Где в траве ползла кудряво мгла...

И упали редкие седины  
С твоего увядшего чела...  
Чуть бледнели складки от одежды,  
И, казалось, в русле темных вод, —  
Уходя, жевал мои надежды  
Твой беззубый, шамкающий рот.

Но недолго душу холол мучил.  
Как крыло, прильнув к ее ногам,  
Новый короб чувства я навьючил  
И пошел по новым берегам.  
Безо шва стянута в сердце рана,  
Страсть погасла, и любовь прошла.  
Но опять пришла ты из тумана  
И была красива и светла.  
Ты шепнула, заслонясь рукою:  
«Посмотри же, как я молода.  
Это жизнь тебя пугала мною,  
Я же вся, как воздух и вода».  
В голосах обкошенного луга  
Слышу я знакомый сердцу зов.  
Ты зовешь меня, моя подруга,  
Погрустить у сонных берегов.

1916 г.

Отрывок из воспоминаний народного артиста республики В. И. КАЧАЛОВА, публиковавшихся в журнале «Красная Нива» в 1928 году.